

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ЯЗЫКОВ*

*

К вопросам анкеты, посвященной проблеме формирования языка великорусской народности и национального русского литературного языка, могу сообщить следующее.

В анкете около половины пунктов касается вопросов стиля. За неразработанностью вообще проблемы стиля (и главным образом применительно к старым эпохам) не могу о нем говорить. Для суждения о стиле, особенно в отношении старших эпох, очевидно, должны быть найдены какие-то особые приемы. Да и вообще большая опора для суждения о великорусском языке появится лишь с окончанием атласов народных говоров не только великорусского языка, но также белорусского и украинского языков. Кроме того, большое препятствие в изучении и языка великорусской народности, и национального русского литературного языка составляет неизученность многих сотен и тысяч письменных памятников русского языка. Поэтому на многие пункты анкеты приходится отвечать проблематически, до проверки ответа данными тех или других письменных памятников.

В о п р о с № 1: «Какие явления и процессы в истории русских диалектных групп связаны с образованием языка великорусской народности?»

Наличность в более широком виде следов так называемого полногласия, явления с изменением дифтонгического *ъ* в монофтонг, переход *e* в *o*, дифтонгизация напряженных *o* и *e*, отсутствие цоканья.

В о п р о с № 2: «Что унаследовал русский литературный язык XIII—XIV вв. от предшествующего периода и в чем сказалось влияние на него северновосточнорусского этнографического и диалектного (великорусского) окружения?»

Унаследована была общая система произношения, в частности языковые изменения, связанные с судьбой слабых и сильных *ъ* и *ь*, взрывное *з*, нормы склонения и спряжения, например, из отдельных морфологических черт — появление *-у* в род. и местн. падежах ед. числа у существительных муж. рода, замена мягких *з*, *ц*, *с* в отдельных формах через *к'*, *г'*, *х'*, флексия *-ов* в род. падеже мн. числа в словах муж. рода, *-ам*, *-ами*, *-ах* в дат., твор., местн. падежах мн. числа существительных и т. д., в спряжении — утрата (давняя) сушина, утрата имперфекта, потеря в перфекте связки, утверждение в будущем времени глаголов несовершенного вида форм с вспомогательным глаголом *буду*, обобщение суффикса кратности *-ыва-*, стабилизация деепричастий на *-вши* (без перехода последнего в *-миши*) и др., в лексике — воздействие церковнославянского языка. В чем сказалось именно влияние севера? Вообще это влияние красочнее всего отразилось на отсутствии аканья. В области лексики также должен был быть северновосточнорусский вклад. Но ближайшее его установление требует еще специального изучения.

* «Вопросы языкознания» начинают публикацию ответов на анкету, опубликованную в № 4 журнала за 1959 г. (стр. 50—51).

В о п р о с № 4: «Когда и как в произносительной системе русского литературного языка закрепилось аканье?»

Как известно, по этому вопросу противостоят точки зрения акад. А. А. Шахматова и акад. А. И. Соболевского. Согласно первой точке зрения, происхождение аканья доисторическое (неопределенной даты); вторая точка зрения исходит непосредственно из показаний письменных памятников, возводя явление к XIV в. По-видимому, более правильно последнее мнение. Аканье, по свидетельству памятников, растет. Это явление говорит о развивающемся воздействии юго-востока на севернорусское наречие. Предположение о доисторическом возникновении аканья сталкивается с отсутствием более ранних показаний о нем письменных источников.

В о п р о с № 6: «Каково соотношение северновеликорусских и южно-великорусских диалектных элементов в деловых и литературных памятниках русского литературного языка XVI и XVII вв.?»

Надо сказать, что специальных исследований памятников XVI—XVII вв. почти нет, поэтому соответственное разрешение этого вопроса затруднительно.

В о п р о с № 8: «В чем заключается специфическое своеобразие соотношения и взаимодействия народнорусских и церковнославянских элементов в русском литературном языке XVI—XVII вв. сравнительно с белорусским и украинским литературными языками того же времени?»

Отсутствие работ по изучению памятников не дает возможности дать аргументированный ответ на этот вопрос. Вообще можно сказать, что на территории белорусского и украинского языков церковные произведения не имели широкого хождения, поэтому и общее воздействие церковнославянского языка было меньшим, чем на великорусской почве.

В о п р о с № 11: «Какова была роль художественной литературы в развитии русского литературного языка со второй половины XVI в. до начала XVIII в.?»

Развитие художественной литературы (в большинстве переводной) в период XVI в. до самого начала XVIII в. должно было сильно раздвинуть границы лексики русского литературного языка, должно было оказать свое воздействие и на синтаксис.

В о п р о с № 17: «Какую роль в нормализации грамматической системы русского литературного языка XVIII в. сыграли грамматические труды (Адодурова, Ломоносова и др.)?»

Значение грамматик XVIII в. (и особенно грамматики Ломоносова) в том, что они обратились к собственно русскому языку, показав, что русский язык — не то, чем был прежний «русский» язык. В диалектологическом масштабе значение грамматик XVIII в., в первую очередь ломоносовской, было в том, что именно грамматика Ломоносова смягчила московские устои литературного языка. В частности, грамматика Ломоносова, отчасти санкционированная первой академической грамматикой, усилила проникновение северновеликорусской стихии в общие нормы русского литературного языка.

С. П. Обнорский (Москва)

*

В о п р о с № 2: «Что унаследовал русский литературный язык XIII—XIV вв. от предшествующего периода и в чем сказалось влияние на него северовосточнорусского этнографического и диалектного (великорусского) окружения?»

Вопрос предполагает с достаточным основанием, что общерусский (общевосточнославянский) книжный язык около XIII—XIV вв. получает более или менее определенную окраску диалектной дифференциации. Для этого периода уже можно говорить о физиономии книжного языка, которая зависела от великорусского окружения или, точнее, заметно

формировалась как великорусская, в ряде черт уже отличающаяся от языковых типов специфически южного и специфически западного. Определение конкретных черт диалектной дифференциации древнерусского языка требует внимательного учета ж а н р о в книжного языка, в их совокупности составляющих письменность XIII—XIV вв. Наименьший интерес в этом отношении представляют памятники литургического характера, по самой их природе мало самостоятельные, зависящие от образцов, занесенных уже больше трех веков назад со славянского юга, и, насколько возможно, оберегаемые в верности этим образцам.

Наиболее важными следует признать данные, которые могут быть извлечены из деловых бумаг, поскольку эти письменные источники отражают обыкновенно бытовую речь — как по кругу затрагиваемых ими понятий, так и по самой форме выражения (фонетике и грамматике). Когда дело идет о документах официального или, в частности, юридического характера, приходится считать с неизбежными для них наслонениями канцелярских условностей, приобретающих характер традиционных формул, застывающих и становящихся надолго предметом подражания. Однако формулы эти не настолько преобладают над остальным текстом, чтобы закрыть в нем то, что непосредственно относится к языку непринужденного, разговорного общения. К счастью для науки, с недавнего времени для суждения о древнем русском языке мы располагаем новгородскими текстами, писанными на бересте; теперь можно без всяких оговорок исходить из того ф а к т а, что уже в XI—XII вв. тексты определенно севернорусские имели свою языковую физиономию, достаточно выразительную, чтобы не быть смешанными, например, с южнорусскими.

Сопоставление документов, вышедших из великокняжеских и княжеских канцелярий (особенно — мелких князей), часто достаточно ясно показывает степень требуемой вкусом времени книжности их. Первые, как правило, более грамотны (в широком смысле слова), более литературны, хотя и они вообще далеки от какой-либо стилистической претенциозности; вторые иногда до неряшливости малограмотны, и претенциозность их исчерпывается короткими традиционными формулами, служащими для создания ощущения особой важности сообщаемого. В этих формулах еще дает знать о себе до некоторой степени связь со старинным книжным языком церковнославянского типа; при этом инородность и случайность его элементов на фоне живой разговорной стихии основного текста выступают достаточно определенно.

Если мы условимся книжным литературным называть язык только тех жанров письменности, в которых в большей или меньшей степени проявляются творческие возможности пишущего в области языка, то понятие наследства в отношении русского литературного языка XIII—XIV вв. естественно сведется только к тому из письменности предшествующего времени, что, будучи предметом усвоения, хотя бы в некоторой степени открывало возможности нового выражения. Некоторая свобода выбора языковых средств, главным образом в области лексики и синтаксиса, и с нею гибкость выражения, нарушающая инертность унаследованных образцов, — самая характерная примета зарождения и укрепления нового качества языка. Наиболее важна в этом отношении речь с более или менее определенными установками на то, чтобы нравиться не только передаваемому содержанию. Таким жанром в наибольшей мере являлась светская занимательная повесть.

Древнерусская беллетристика, и прежде всего житийная литература, своими корнями уходит в церковность, и выбор средств выражения для нее предопределялся ее идеологической природой. Идеализация церковно окрашенной старины должна была вести за собою и в области языка пietet в отношении речевой архаики, т. е. чисто традиционных — церковнославянских или сильно церковнославянизированных — способов выражения. Эта архаика была, таким образом, бесспорной установкой, осно-

ывавшейся на самой природе соответствующих жанров. Мера архаизированности языка во многом зависела от степени образованности автора или компилятора-составителя; как правило, каждый хотел писать в духе традиционной словесной манеры, но не каждый мог остаться одинаково верным ей; зависела она и от самого сюжета со всеми отпосившимися к нему представлениями и понятиями, собственно церковными или бытовыми, при этом именно данного времени, данной местности и общественного круга. Можно предположить, что сила архаизаторских установок писавших определялась также и тем, насколько они учитывали способность своих читателей понимать соответствующие тексты, и под.

Более близкая к исторической почве основа повествования естественно способствовала проникновению в него прежде всего лексических элементов, не имевших себе синонимов в древнем языке. Это же давало о себе знать и в фантастическом повествовании, для понятий и представлений которого традиция давала только очень ограниченную опору.

Язык летописи очень характерно сочетает в себе многочисленные элементы условного традиционного языка с его архаической, при этом чуждой основой и близкую к бытовому языку старорусскую стихию (при сообщении о событиях). Как известно, в летописи совершенно определенно отслаиваются пласты наставительно-церковные по своему содержанию, недвусмысленно иноязычные (церковнославянские) по манере, морфологии и синтаксису. Пишущие хотят их видеть именно такими и заботятся в пределах своего умения о максимальной верности их традиционнокнижному слогу. В остальном обнаруживаются способы выражения намного более свободные, но остающиеся все-таки в пределах манеры, в которой нет совершенной простоты, не говоря уже о возможной вульгарности разговорной речи. Ведь и эти способы выражения должны были свидетельствовать о том, что пишет образованный, хорошо грамотный человек, усвоивший определенную манеру письма.

О языке «Русской Правды» иногда еще спорят — как смотреть на его основной состав, не сводящийся к старославянским элементам? К какой из областей старинной диалектной дифференциации восточнославянского языка — южной или же северной — относить его? Нельзя сказать, что после отсложения элементов, связанных с особенностями дошедших до нас списков, в «Русской Правде» с достаточной выразительностью выступают черты той, а не другой диалектной группы. Можно думать, что во время создания «Русской Правды» и сама диалектная дифференция живого языка еще не приобрела той определенности, которая постепенно стала заявлять о себе позже.

Влияние на русский литературный язык XIII — XIV вв. северновосточно-русского этнографического и диалектного (великорусского) окружения заявляет о себе, помимо отсутствия в этом языке специфически южных черт, наличием ряда таких, которые связаны с языком именно великорусской народности, — как он выступает в письменности и живых говорах этого и последующего времени. Из важнейших явлений можно указать, например, на достаточно свободное уже с начала русской письменности проникновение в письменность новгородского чоканья — чоканья; со второй половины XIII в. отражается в памятниках великорусский переход *-ий, -ий* в *-ой, -ей* и несколько раньше — переход *ъ, ь* после плавных в (соответственно) *о* и *е*. В области *м о р ф о л о г и и* как великорусизмы заявляют о себе восходящие к древнейшим *ѣѣ, зѣ (dzě), сѣ* в формах имен существительных аналогические группы *кѣ, гѣ, хѣ* (древнейший пример *Дъмъкъѣ* уже в записи при севернорусской Минце 1095 года); формы единственного числа личных и возвратного местоимений *меня, тебя, себя* (при этом решающего значения не имеет, морфологического или фонетического происхождения их *я*; в великорусских памятниках такое окончание встречается со второй половины XIV в.); для системы глагола среди другого характерны явления аналогического ха-

рактера в формах повелительного наклонения: утрата фонетического изменения *к, џ, х* в *ц, з, с* перед *и* и *ѣ* из бывшего **оѣ* и вытеснение *ѣ* во множественном числе звуком *и*, идущим из форм единственного числа.

В области с и н т а к с и с а одно из очень заметных великорусских явлений — оборот «именительный падеж женского рода в функции дополнения, зависящего от инфинитива». Он характерен главным образом для московской письменности с середины XIV в., хотя встречается несколько раньше уже в договорной грамоте смоленского князя Мстислава Давидовича с Ригюю и Готским берегом 1229 г. Наряду с возможными толкованиями этого оборота как диалектно возникшего на самой северновеликорусской (и западнорусской) почве, надо серьезно считаться и с возможностью его возникновения в связи с финским субстратом, где аналогичное явление встречается именно при инфинитиве (и повелительном наклонении).

Что касается л е к с и к и, то фонд слов, вынесенных из общевосточнославянской старины, долго сохраняется в литературном употреблении. Внимательный анализ позволяет констатировать постепенное проникновение в письменную речь слов великорусского фонда, иногда даже определенно диалектного употребления, таких, например, как отмеченные Б. Унбегауном новгородизмы, относящиеся к мореплаванию и торговле: германизмы *шкипер, буса, берковеск; зобня, коробья, пуз* (меры) и под. Слово *берковьскъ* «берковец, 10 пудов» засвидетельствовано около начала XII в.; *зобня* «мера сыпучих тел» — с конца XIV в.; *буса* «род судна» — в Новгородской I летописи, и под. Лексика общевеликорусская и узко диалектная без большого труда отслаивается хотя бы в таких хорошо обработанных собраниях правового материала, как «Акты феодального землевладения и хозяйства XIV—XVI вв.», подготовленные к печати Л. В. Черепниным (М.—Л., 1950). Памятники художественного языка, в большой мере церковнославянизированные, доступ диалектной лексике дают, конечно, менее свободно.

Медленное накопление получавших доступ в письменность диалектных особенностей с определенного времени ускоряется — по-видимому, в результате военного потрясения на переходе ко второй четверти XIII в. Процесс политической дифференциации страны вплоть до периода нового, московского, «собрания» русской земли отражается в письменности все более заметным ее областничеством.

Л. А. Булаховский (Киев)

*

В о п р о с № 5: «Чем объяснить усиление влияния и расширение функций деловой речи в стилистике древнерусской литературы XVI—XVII вв.?»

Ответ на этот вопрос несколько шире самого вопроса; отчасти он будет давать некоторый материал и для ответа на ряд других вопросов, предложенных журналом «Вопросы языкознания».

Прежде всего об одном чрезвычайно важно для развития русской литературы и русского литературного языка явлении, до сих пор не обращавшем на себя внимания литературоведов и языковедов. Явление это я условно предлагаю назвать л и т е р а т у р н ы м э т и к е т о м. Феодализм времени своего возникновения и расцвета с его крайне сложной лестницей отношений вассалитета—сюзеренитета создал чрезвычайно развитую обрядность — церковную и светскую. Взаимоотношения людей между собой и их отношения к богу подчинялись этикету, традиции, обычаю, церемонии, до такой степени развитым и деспотичным, что они прозывали собой и в известной мере подчиняли себе мировоззрение и мышление человека.

Из общественной жизни склонность к этикету проникает в искусство.

В живописи иконописные подлинники предписывают изображение каждого святого в строго определенных положениях со всеми присущими этому святому атрибутами; то же касалось и изображения событий из жизни святых или событий священной истории. Этикет может быть вскрыт в строительном и в прикладном искусстве, в одежде и в науке, в отношении к природе и в политической жизни. Это была одна из форм идеологического принуждения.

Если мы обратимся к литературе и к литературному языку эпохи раннего и развитого феодализма, то и тут обнаружим ту же склонность к этикету. Литературный этикет — наиболее типичная средневековая условная связь содержания с формой. Поясню. В. О. Ключевский подобрал довольно много формул, якобы присущих житийному жанру. А. С. Орлов сделал то же самое для жанра воинской повести. Но ни первый, ни второй не обратили внимания на то обстоятельство, что и житийные, и воинские формулы постоянно встречаются и вне житий, и вне воинских повестей, например в летописи, в хронографе, в исторических повестях, даже в ораторских произведениях и посланиях. Не жанр произведения определяет собой выбор выражений, а предмет, о котором идет речь. Именно предмет, о котором идет речь, является сигналом для несложного подбора требуемых литературным этикетом трафаретных формул. Раз речь заходит о святом — житийные формулы обязательны, они подбираются в зависимости от того, что говорится о святом, о каком роде событий повествует автор. Так же обязательны воинские формулы, когда рассказывается о военных событиях. Есть формулы, применяемые к выступлению в поход своего князя; другие применяются в отношении врага; есть формулы, определяющие различные моменты битвы, победу, поражение, возвращение в свой город и т. д. Вот почему воинские формулы могут встречаться в житии, житийные формулы — в воинской повести, те и другие в летописи или поучении. Легко убедиться в этом, пересмотрев любую летопись — Ипатьевскую, Лаврентьевскую, одну из новгородских и др. Один и тот же летописец по несколько раз меняет манеру своего изложения, стиль, язык в зависимости от того, пишет ли он о сражении князя или о его смерти, передает ли содержание его договора или рассказывает о его женитьбе.

Дело, однако, не только в «формулах», но и в языке, на котором пишет писатель. Легко заметить различия в языке одного и того же писателя: философствуя и размышляя о бренности человеческого существования, он прибегает к церковнославянизмам, рассказывая о бытовых делах — к народнорусизмам. Литературный язык отнюдь не един. В этом нетрудно убедиться, перечитав «Поучение» Мономаха. Язык этого произведения «трехслоен» — в нем есть и церковнославянская стихия, и деловая, и народнопоэтическая (последняя, впрочем, в меньших размерах, чем первые две). Если бы мы судили об авторстве этого произведения только по стилю, то могло бы случиться, что мы приписали бы его трем авторам. Но дело в том, что каждая манера, каждый из стилей литературного языка и даже каждый из языков (ибо Мономах пишет и по-церковнославянски, и по-русски) употреблен им, со средневековой точки зрения, вполне уместно — в зависимости от того, касается ли Мономах церковных сюжетов (в широком смысле), своих походов или душевного состояния своей молодой снохи. Церковнославянский язык неотделим от церковного содержания, русский — от национальнорусского, народнопоэтическая речь — от народнопоэтических сюжетов, а деловая речь — от деловых. Этот средневековый этикет в употреблении соответствующего языка или стиля языка наблюдался не только на Руси. Он еще значительно в средневековых литературах многих других стран.

Житийные, воинские и прочие формулы, этикетные саморекомендации авторов, этикетные формулы интродукции героев, приличествующие случаю молитвы, речи, размышления и т. д. повторяются из произведения в произведение. Все введено в известные рубрики, все классифицирова-

но, все сопоставлено с известными случаями из священной истории, снабжено соответствующими цитатами и т. д. Средневековый писатель очень часто выступает как педантичный церемониймейстер, ищущий прецедентов в прошлом, озабоченный образцами, формулами, аналогиями, подбирающий цитаты, подчиняющий события, поступки, думы, чувства и речи действующих лиц и свой собственный язык заранее установленному «чину». При этом связь литературного этикета и этикета феодального двора или церковной обрядности может быть установлена в ряде случаев.

С образованием Русского централизованного государства литературный этикет становится необыкновенно пышным. Возьмем, например, воинские формулы «Казанской истории», «Летописца начала царствования», «Степенной книги» или «Повести о взятии Пскова Стефаном Баторием». Они значительно пространнее и вычурнее, чем в Ипатьевской летописи. Авторы не довольствуются их краткой устойчивой формой. Они вводят различного рода «распространения», стремятся к соединению пышности с наглядностью и т. д. В результате теряется устойчивость этих формул. Явления литературного этикета стремятся к увеличению, к возрастанию и одновременно от состояния организации и дифференциации переходят в состояние смещения и слияния с окружающими формами. Устойчивый и компактный вначале, этикет становится затем пышным, но расплывчатым и медленно растворяется впоследствии в новых литературных явлениях XVI и XVII вв. И это отнюдь не вследствие «внутренних законов» развития литературы и литературного языка. Происходит крушение этикетности вообще, связанное с изменениями существа порождающего ее феодализма. С образованием централизованного государства пышность этикета возрастает, но он перестает быть жизненно необходимой для феодализма формой идеологического принуждения: в централизованном государстве формы принуждения достаточно разнообразны и надежны. В сфере церковной литературный этикет нужнее и здесь он сохраняется, хотя Аввакум и устраивает против него настоящий бунт, впрочем больше похожий на самосожжение, ибо литературный эффект этого бунта против этикета мог существовать только до той поры, пока продолжал еще существовать и сам литературный этикет.

Итак, деловая речь входила в литературу в XI—XV вв. под строгим контролем литературного этикета. В XVI в. этот контроль слабеет, а в XVII в. появляются даже его яростные разрушители, использующие нарушения этикета как литературный прием. Это создало главное условие для экспансии деловой речи в стилистике древнерусской литературы XVI—XVII вв.

Надо принять во внимание и изменения, которые стала претерпевать с XVI в. жанровая система литературы. Обычно различного рода «теории литературы» со свойственным им пренебрежением к истории литературы рассматривают явление жанра как нечто неизменное по своей природе. Это неверно. Природа литературных жанров русского средневековья иная, чем в литературе нового времени. В частности, они связаны с внелитературным их употреблением: различные виды житий (mineйные, проложные и пр.) имеют различные функции в церковной практике, летописи — в правовой и дипломатической, различные виды посланий — в церковной и дипломатической и т. д. Каждый жанр и каждый вид жанра имел свою сферу внелитературного употребления, имел практические функции. В этом одно из отличий средневековых жанров от жанров нового времени — чисто литературных. Кризис этой системы наступает также в XVI в. Отметим своеобразие этого кризиса: жанры литературы пополняются новыми жанрами, создающимися на основе жанров деловой письменности, приобретающими чисто литературные функции. В XVI в. появляется жанр чисто литературных челобитных (Пересветов), посланий (Грозный), летопись приобретает все более и более литературный характер, теряя свои «деловые» функции. В начале XVII в. в виде чисто лите-

ратурных произведений начинают фигурировать статейные списки (статьные списки как чисто литературное явление долгое время считали «подложными» — Сугорского, Ищеина и др.), дипломатические послания («подложная» переписка Грозного с турецким султаном) и пр. Ясно, что переход в литературу ряда деловых жанров (вернее, образование новых литературных жанров на основе деловой письменности) также приводил к расширению функций деловой речи в стилистике древнерусской литературы XVI—XVII вв.

Еще одна причина расширения функций деловой речи в стилистике древнерусской литературы XVI—XVII вв. заключалась в появлении новых своеобразных центров литературного творчества — московских приказов. Рядом исследований последних лет выяснена огромная роль в литературе Посольского приказа; давно уже указано на литературные функции Записного приказа, Сибирского и некоторых других. К московским приказам имели отношение многие из повестей о Смуте, «Новый летописец», повести о посольствах Сугорского и Ищеина, «Переписка» Грозного с турецким султаном, Азовские повести, «История» Федора Грибоедова, титулярники и др. Естественно, что деловая речь хлынула в литературу, тем более что ограшчительные рогадки этикета распались, а жанровая система литературы расширилась за счет новых жанров, созданных на основе форм деловой письменности.

В целом в XVI и XVII вв. происходит постепенная секуляризация литературы, она захватывает не только содержание литературы, но и форму. Отступление церковности вызвало потребность в срочном возмещении, и это возмещение шло от той формы письменности, которая с самого начала не была охвачена церковностью.

Было бы весьма соблазнительно связывать расширение функций деловой речи в стилистике древнерусской литературы XVI—XVII вв. с усложнением и развитием системы управления Русского централизованного государства в XVI—XVII вв. и соответствующим развитием деловой речи вообще. Но здесь следует проявить осторожность: ведь чрезвычайное развитие науки и научного языка в XX в. не привело к сколько-нибудь заметному влиянию научного языка в стилистике литературы XX в.

Д. С. Лихачев (Ленинград)